

Зеница ока

рассказ

54

Бабушка Евдокия, она же Авдотья, она же Баба Дуня, как её звали в коммунальной квартире, родилась в глубинной Рязанщине в 1860 году, в крестьянской семье, то есть до годовалого возраста в записях числилась как крепостная помещиков Лесковых. В вольнокрестьянском сословии возросла, вышла замуж за беспокойного Збайковичева Василия, что слыл «пьющим, драчливым и до чужбинки охочим», и прижила с ним двенадцать чад, из коих зрелых лет достигли четверо.

К 1942 году из этих четверых только одна Аксинья оказалась опорой бабы-Дуниной старости в чуждом её крестьянской душе мире, в переполненных эвакуацией Булгарах, большом трамвайном городе на Волге. Дочь Мария с семейством неизвестно как страдали в Донбассе, под игом неприятеля. Младший сын Адриаша в профессорских чинах учительствовал в самой сердцеvine Азии и там хотя бы не унижался голодом. Старший же Павлуша, грянув в прах с большевицкой верхотуры, уж пять лет как полностью не присутствовал, прими его под свой покров, Пресвятая Богородица.

В тот ужасный, тёмный, голодный и дьявольски морозный год, когда все уличные фонари были погашены, а окна плотно занавешены в ожидании авианалётов, старушка упала в свежотрытую траншею и сломала себе шейку бедра. Дальнейшее – двухсторонняя пневмония и сердечная недостаточность. Два дня она умирала на главной

кровати, где в обычное время спала труженица Аксинья со своими собственными двумя малыыми внучатами. Всё разношёрстное семейство, включая и Павлушиных детей, шестнадцатилетнюю дочь и девятилетнего сына, сидело вокруг. Смерть Бабы Дуни открыла для них пучину горя и какую-то дотоле неведомую округу любви.

Прошёл ещё год войны. Вдруг pokazалось, что выжили. Вечно сосущее чувство голода стало отступать по мере проникновения в мизерные пайки кое-каких лендлизовских продуктов, в частности яичного порошка и сала лярд. Павлушиному сыну шёл уже одиннадцатый год. Он увлекался Джеком Лондоном, а также выпусками боевика «Тайна профессора Бураго». О судьбе своих родителей, отца Павла и матери Евгении, он ничего не знал. Взрослые говорили ему, что те уехали в долгосрочную командировку на Дальний Север, то есть примкнули к общеизвестным «героям-полярникам». Он догадывался, что от него что-то утаивают, и потому старался не задавать взрослым вопросов о своих родителях. Детство шло в активных играх со сверстниками. Дома соединялись проходными дворами, и пацаны носились по таинственным углам грязного мира, а также по чердакам и крышам, то группируясь во враждующие клики, то распадаясь на одиночек, когда приходила пора погружаться в книги или обмениваться треугольными марками государства Тува. Такая в общем шла обычная па-

цанская жизнь, и только иногда возникало что-то необъяснимое, то щемящее, жалкое, как у заброшенного щенка, то бессмысленно-дерзновенное, как у несущегося в неизвестном направлении бродячего пса. Такое случалось, например, при встречах с соседом по квартире, майором Околовичем. Будучи в полной форме, то есть в кителе и в фуражке с голубым верхом, этот одинокий квартирант проходил через пещерный коридор, ни с кем не здороваясь и вроде даже никого не замечая. Однако при выносе помойного ведра он выглядел не столь формально: галифе приспущены на подтяжках, бритый черепок умеренно пятнист, в свободной руке зажжённая папироса, вторая, про запас, заложена за ухо. Заметив во дворе Павлушиного сына, он нередко провожал его немигающим взглядом.

Однажды, в один из своих читальных периодов, Павлушин сын остался один в семейной комнате. Он сидел на сундуке, прислонившись к ещё тёплой печке, наслаждался неожиданным одиночеством и читал книгу «Водители фрегатов», одолженную у одноклассника Нарцисса Антонова. Вдруг сильная мысль овладела мальчиком. Этот сундук, на котором сейчас сижу, должно быть, мало отличается от корабельного сундука капитана Кука или капитана Дюмон-Дюрвиля. Тётка не зря запрещает туда залезать, не исключено, что там кроется тайна. Там может быть тайна, связанная с родителями-полярниками. Пожалуй, лучше не открывать этого местиллица: тётка может быть огорчена, если откроется такое, чего ему не полагается знать. Соблазн, однако, был велик. Мальчик знал, где тётка прячет ключ от сундука – под клеёнкой в бывшей выгородке Бабы Дуни, где сейчас устроена крохотная кухня. Через несколько секунд он уже снимал замок.

Запах нафталина был так силён, что он даже отпрянул и не в первый момент увидел то, что лежало прямо под крышкой: большую чернубурую лису с серебром и с мордочкой, выделанной

столь тщательно, что она казалась дополнительным украшением, а не частью тела истреблённого зверя. Павлушин сын несколько минут не мог оторвать взгляда от лисы, а тем более взять её в руки. Среди всеобщего убожества увидеть столь красивую и дорогую вещь было бы всё равно, что найти вместо своих перекошенных и вечно «просящих каши» башмаков великолепные ботфорты виконта де Бражелона. И всё-таки это была не совсем незнакомая ему чернубурка. Вдруг выскочило дикое слово *конфискация*, выплыла из памяти дверь, запечатанная сургучом. Он поднял лису на вытянутых руках.захотелось зарыться в неё носом. Сквозь нафталин он уловил дуновение другого запаха, если только миг сладостного счастья может пахнуть. Руки затряслись, лиса упала в сундук. Чтобы усмирить дрожь, он стал перебирать другое содержимое: старое пальто, плюшевую скатерть, статуэтку альпийского пастушка с козочкой; потом вытащил на свет божий потемневший от времени деревянный ларец с резной крышкой.

Этот ларец он видел однажды на коленях у Бабы Дуни. Она сидела в своём закутке и тихонько в нём копошилась. При виде мальчика закрыла крышку и поставила ларец на пол. Он тогда подумал, что старуха прячет в сокровенном хранилище свои крестики и иконки. Открыв ларец сейчас, он увидел лежавшие поверх всего толстые вязаные носки и варежки. Из одной варежки он вытащил страницу школьной тетрадки, на которой синим карандашом было накарябано «для васынке». И носки, и варежки были ему явно велики; значит, она связала их ему на вырост, чтобы не замерзал в будущем.

Следующее открытие осветило и первое, то есть чернубурку. Перед ним лежала большая матовая фотография в паспорту из серого картона. До войны такие выставлялись в витрине главной городской фотомастерской, которую старые люди до сих пор называли «электровелогографией Самсонова». На ней изображена была цветущая пара

благополучных людей: чуть повыше Он, в зимнем кепи из каракуля и в пальто с таким же воротником, и Она, чуть пониже, в шляпке и с чернобуркой на плечах, той самой чернобуркой, что сейчас лежала рядом. И тут мальчик с пронзительной ясностью понял, что видит своих родителей, светлоглазого отца и темноглазую маму. Вот так же он видел их, когда они возвращались из Москвы и, не сняв верхней одежды, проходили в детскую. Он просыпался от звонка в дверях, от шума их шагов и весёлых голосов. Потом вся детская заполнялась запахами духов, табака, отцовского автомобиля. Мама брала его на руки, и он неизменно зарывал свой нос в её лису, стараясь всё-таки не попасть в зубастую лисиную мордочку, между тем как отец сваливал в его кровать пакеты и коробки с шелковыми лентами – московские подарки. Прибегали старшие дети, дочь отца и сын матери, начинались прыжки и дикие танцы, всё переносилось в большую комнату, где не было кроватей и где часто крутили патефон. Там были обе домработницы, няня Фима и тетя Агаша, шофёр товарищ Мельников, соседка Фариды, а также весьма почтенная старушка в бархатном жакете, родительница председателя горсовета, которую тогда звали не Бабой Дуней, а Евдокией Власьевной. Мальчик сжимал в руках фотографию и, потрясённый, поднимал локти, словно пытался заслониться от вспышек памяти, от возникавших с удивительной ясностью имён и лиц из той его крохотной, тогда ещё не засургученной, не *конфискованной*, а потом вроде бы стёртой до основания жизни.

Вслед за фотографией явилась небольшая старинная дощечка с изображением юной девы в короне, державшей на руках младенца тоже в короне; он догадался, что это была бабкина икона, которой она шептала по ночам в переполненной спящими телами комнате: «Царица Небесная, Пресвятая Богородица, прости нас и ПОМИЛУЙ, спаси и защити!» Затем он вытащил пачку бумаг, вложенную в свёрнутую и уже

основательно пожелтевшую газету. Это был праздничный выпуск «Красного Поволжья» за июль 1937 года; день Военно-морского флота СССР. Первую полосу украшал большой снимок флага-мана, линкора «Марат» с его 16-дюймовыми орудиями; обычно он наслаждался изображениями кораблей, теперь сей водяной чертог его перепугал. Он перевернул газету и на четвёртой полосе, среди второстепенных сообщений, в небольшой заметке вдруг увидел собственную фамилию. Лишь несколько секунд спустя он сообразил, что речь идёт не о нём, а о его отце. «В Доме культуры им. Менжинского завершился судебный процесс по делу группы предателей родины, окопавшейся в горсовете... Главарь преступной банды... Збайковичев... приговорен к смертной казни... Приговор окончательный, обжалованию не подлежит...» Ну, вот и всё, они предатели, их больше нет, теперь осталось лишь влезть в сундук и закрыться крышкой. Тут он увидел, что у него на ладони лежит маленький деревянный кубик. Он хотел было отшвырнуть этот кубик – что ещё может сообщить какой-то кубик после того, что он узнал, что разрушило детские сказки о «героях-полярниках»? Однако любопытство возобладало над отчаянием. В голове почему-то закрутилось слово «карат». Он не очень-то отчётливо представлял себе, что такое «карат», хотя и знал, что это относится к драгоценностям. Может быть, бабка в этом кубике какой-нибудь карат спасла от *конфискации*, от засургучивания?

Открыв крышечку кубика, он увидел внутри не «карат», а глаз. Довольно крупное, в прекрасной сохранности, белое яичко глаза с ярким голубым зрачком смотрело на него со слегка пожелтевшей ватной подушечки. Перехватило дыхание. В животе, как в капкане, задёргалось существо желудка со всеми кишками. Подкосились ноги, и он упал сначала на колени, а потом ничком. Подбородок с диким стуком ударился об пол. Голова померкла. Во мраке, словно медуза в глубинах моря, дро-

жал и светился голубой глаз. Он приближался, увеличивался вплоть до того, что стали видны тончайшие красные ниточки. Закрыв весь обзор, а потом начал быстро удаляться, падать в тёмную пустоту, превращаться в еле видимую голубую звёздочку. Погас.

С тех пор прошло ещё тринадцать лет. В 1956 году за два месяца до Венгерского народного восстания мне исполнилось двадцать четыре года. Я редко вспоминал детство, а когда вспоминал, мне не верилось, что тот «казанский сирота» и я, стильный питерский парень, – это одно и то же существо. Скорее уж чувство некоего родства связывало меня с тем «Павлушиным сыном», родства и неизбежного наследничества, но отнюдь не полная идентичность. Так странно это происходит по ходу жизни, когда реальные страхи переходят в зону снов.

Нужно ли говорить о том, что я был по уши в своих молодых делах, столь далёких от лет военной юдоли, да и вообще от родного города. Питер, в лице своей учащейся молодёжи, живо откликнувшийся на послесталинское пробуждение, бурлил дискуссиями, стычками с «обскурантами» на выставках современной живописи, выходящими из подполья стильными танцами, чтениями в литобъединениях, и я со своими стихами, исполнявшимися под гитару в ритме блюза, был в центре этого бурления. Погода преобладала оттепельная, влажная, кучевые облака шли в устье Невы скорее из Англии, чем из Коми. На Невском проспекте то и дело происходили удивительные, как бы случайные встречи, хотя в нашей компании Невский нередко называли Авеню Встреч. Там как раз я и познакомился с венгерской девушкой Гизеллой, то есть по-нашему Жизелью. Она только что окончила Будапештский университет и приехала в Союз как корреспондентка спортивной газеты. Мы разговаривали с ней на варварской смеси языков, а понимали друг друга в основном при помощи взглядов и прикосновений.

После её отъезда домой я стал замышлять побег в Европу. Можно было – разумеется, с риском угодить в тюрьму – пробраться на польский торговый корабль, достичь Гданьска, а потом с помощью польских ребят, недавно окончивших наш факультет, отправиться в Будапешт. Если бы план удался, я бы скорее всего угадал к самому началу восстания, то есть всё равно угодил бы в тюрьму, ту или другую, или был бы подстрелен то ли шальной, то ли нацеленной пулей. Пока что я никаких боёв не предполагал, а только лишь грезил великолепной антисталинской революцией духа, в которую мы с Жизелью вольёмся, как некие киногерои поколения.

Однажды, ближе уже к осени, пришла телеграмма от тётки Ксении: «Срочно приезжай. Ожидаются важные события». Признаться, мне вовсе не светило остаток лета провести на периферии в ожидании важных событий. Уже не раз тётка меня вызывала подобными телеграммами, я не приезжал, маялся муками совести, события же не происходили, и муки совести рассеивались. Речь шла всякий раз о возможности приезда отца. Тётка не верила, что его нет в живых. За все эти бесконечные годы от него не было ни единой весточки, однако временами доходили какие-то странные слухи, что его видели в лагерях то ли вблизи Сыктывкара, то ли на Таймыре, то ли в Казахстане. Полгода назад тётка решила сделать запрос в краевой прокуратуре, ответа, однако, до сих пор не было.

Мама моя уцелела в лагерях благодаря своей медицинской профессии. Она никогда не исчезала, постоянно присылала мне с Колымы короткие письма, а когда я поступил в Горный институт, оттуда стали приходиться ежемесячные денежные переводы. Однажды, ещё при жизни Сталина, я умудрился на летнюю практику оказаться на Севере Якутии, всего лишь в трёхстах километрах от посёлка, где в ссылке жила мама. Тогда мы и встретились после пятнадцатилетней разлуки. У неё

была другая семья. Вдвоём с мужем, тоже бывшим заключённым, горным инженером, они воспитывали его маленькую дочь, отправленную после смерти её заключённой матери в лагерьный детприёмник. О моём отце мама ничего не знала, хотя и до неё иногда доходили слухи, что он жив. Кто-то в лагерях опровергал сообщение о «высшей мере», кто-то говорил, что «вышка» была заменена пятнадцатью годами, а третий тут же добавлял, что «без права переписки». Увы, мой мальчик, говорила мама, поглаживая меня по волосам, словно маленького, ты же знаешь, что «без права переписки» – это эвфемизм для убийства. Я не знал: так же, как и слово «эвфемизм», – это было для меня открытием.

В этот раз я решил увидеться с тёткой, и вот я у неё. За те несколько лет, что я её не видел, она вроде бы не постарела, только чёлочка засеребрилась. Увидев меня, расцвела васильковой, «збайковичевской» улыбкой. Конечно, подтащила к дверному косяку, чтобы показать зарубки роста. Ну и вымахал ты, Васок! Я давно заметил, что ей всё время хочется прикоснуться ко мне, потрепать, скажем, вихор, но по каким-то, видимо, важным для неё причинам она сдерживалась. Сейчас я наклонился и боднул её в плечо. Боже, она чуть не расплакалась, эта моя вторая мама! Впрочем, тут же поджала свои узенькие губки и перешла к делу, то есть к причине столь экстренного телеграфного вызова. Времена меняются, Васок, многие возвращаются из мест заключения. Некоторых, говорят, даже ре-алиби-тирируют. А мы ничего не знаем о Павлуше. На моё письмо они не отвечают. Я думаю, что теперь, как ты уже окончивши институт, ты должен сам туда зайти. Вот именно прямо туда, где он и канул, на «Бурый овраг». Она сжала губы. Во всём облике её проявилось упорство. Именно с этим выражением бесконечного упорства в сорок втором году она каждое утро отправлялась на базар Скворцы и стояла там часами в любую

погоду с вещами эвакуированных ленинградцев. С каждой продажи она получала десять процентов денег и покупала для нас то кирпич хлеба, то сумочку картошки, то вязку лука. А мы, дети, сидели на подоконнике и ждали, когда она появится. Уже по тому, как она передвигала свои опухшие ноги, мы понимали, будем ли ужинать.

«Бурый оврагом» в нашем городе называли штаб-квартиру местного НКВД, поскольку размещалась она на краю городского оврага. Длинное, в целый квартал, трёхэтажное здание с кокетливыми канителями по фасаду, по слухам, имело ещё шесть этажей подвалов с камерами для подсудимых. На дне этого оврага был городской каток, где в военные зимы бесчинствовала шпана с железными палками, а после войны под сладкий голосок Зои Рождественской кружили румяные барышни. Вспомнив эту топографию, я представил, откуда можно было бы повести отряд молодёжи на штурм гадского гнезда.

– Ну, конечно, тётка. Обязательно схожу в это... учреждение. Прямо завтра туда и отправлюсь, запишусь на приём к какому-нибудь... тузу. Заодно и посмотрю... как там всё расположено.

Тут она снова воссияла збайковичевской голубизною.

– Вот и умник! Вот какой ты умник, Васок! Я бы и сама туда пошла, но кто ж будет со мной разговаривать, – говорила тётка. – Отфутболят куда-нибудь в нижние инстанции, в лучшем случае. А вот от тебя-то им не получится отмахнуться. Тем более что ты стал такой известной персоной.

– Это ещё что, тётка? О чём ты говоришь? Какой ещё такой известной персоной? Кто меня знает, кроме нескольких сотен бродяг в Ленинграде? Ну, может быть, пары тысяч.

– Тебя весь комсомол знает, – с важностью возразила она и вынула из фартука свёрнутую газету.

Это была «Юность Поволжья», на третьей её странице действительно фигурировала моя фотография «шесть на

восемь», с гитарой на сцене институтского клуба. Текст гласил: «С большим успехом проходят в Ленинграде спектакли комсомольского коллектива Горного института «Капустник Горного». На снимке студент-выпускник В. Збайковичев исполняет песни собственного сочинения».

– Мне соседи эту газету принесли, – сказала тётка, – а ведь небось и в «Буром овраге» есть читатели.

Я взглянул ещё раз на довольно мутное фото подозрительной личности с ивмонтаповской «стрижкой каторжника» и представил себе, с каким восторгом сотрудники овражного учреждения встретят новоиспечённую знаменитость.

Вечером всё семейство собралось вокруг стола с целой грудой пышущих жаром пирожков. В процессе их поглощения полагалось громко восхвалять предмет поглощения и их автора. Жить стало всё-таки лучше даже в волжских провинциях. Ещё недавно муку «выкидывали» только к праздникам, и за ней выстраивались вековые российские очереди с номерами чернильным карандашом между большим и указательным пальцами. С жильём, однако, прогресса не было. Все они, тётка и дочь её, которую я тоже звал тётей, тётей Тилей, и дети дочери, что, будучи моими племянниками, по возрасту больше подходили мне в кузены, и их отец дядя Гена, и его сестра тётя Ната, которая из-за развода лишилась местожительства, – все они жили в той же одной комнате, в которой прошло и моё детство.

Были, впрочем, и некоторые новшества: например, маленький холодильник «Север», телевизор с линзой и – о, чудо! – настоящий телефон, появившийся тут благодаря тому, что дядя Гена выдвинулся в замзавы своего строительного треста.

Ближе к полуночи, когда литровый графин настойки был уже пуст, стали раскладываться на ночлег. Мне принесли подружку юности, раскладушку Шахерезаду. На ней я провёл не менее ты-

сячи ночей до того, как отправился в город на Неве. Будучи в раскладе, она на половину своей длины уходила под обеденный стол. Тётка без конца мне говорила, чтобы я укладывался головой наружу, но я предпочитал обратную позицию: всё-таки своего рода личная спальня. Привычка спать под столом так укоренилась, что я, попадая в какую-нибудь незнакомую квартиру, машинально оценивал обеденный стол на предмет ночёвки.

В ту ночь под столом мне пришла безумная для комсомольца идея. А почему бы не позвонить сейчас в Будапешт, не проверить нашу «оттепель» на вшивость? Я стащил дяди-Генин номенклатурный аппарат с тумбочки на пол и, подделываясь под какой-то иностранный акцент, заказал столицу братского государства. После этого накрыл аппарат подушкой и стал ждать. Не прошло и десяти минут, как послышалась нежная трель. В контраст с ней прозвучал грубый голос нашей болгарской телефонистки: «Будапешт заказывали? Говорите!» Боги, боги мадьярские, мордвинские и чувашские! На проводе была моя несравненная, чуть-чуть хрипловатая Жизель! Ах, Васко, говорила она, у нас тут всё бурлит. По всему городу митинги, стачки, демонстрации. Как мне тебя тут не хватает, Васко мой! Жизель моя, отвечал я. Же ты эм! Их либе дих. Ай лав ю! Люблю! Обе «ю» долго ещё гудели над пространствами Европы после того, как разговор прервался. С ними я и уснул.

Рассвет уже сквозил через тюлевые шторы, но все ещё спали, когда я мощным дельфиним движением выбросился из провисшей Шахерезады. Стукнулся макушкой о нижние доски стола. Что пробудило меня от сладких снов в такую рань? Кто-то стучал в дверь или кто-то настучал в «Бурый овраг»? Стук повторился уже наяву. Тётка, кряхтя, сползла с кровати, прошлёпала по паркету.

– Кто там в такую рань?

Мужской голос прозвучал из коридора:

Збайковичевы, Котелковские тут проживают?

Отлетела задвижка, скрипнула дверь, жуткий вопль тётки потряс дряхлое жильё. Как был, в трусах и в майке баскетбольной команды «Горняк», я побежал к дверям и увидел, что тётка трясётся в объятиях какого-то человека, что ноги её не держат и она вот-вот сыграет на пол.

– Сестра, сестра, ну-ка, возьми себя в руки, – бормотал человек. Он ещё не переступил порога, и в полутьме коридора блестели его очки. Вдруг он и сам завопил: – Родная моя! – и сам весь затрясся.

Утробный вой тётки перешёл, слава богу, в словесные рыдания:

– Павлушка, Павлушка, ужельча это ты?!

Ещё в детстве я заметил, что в моменты волнений она переходила от городского говора к родной деревенщине.

– Васок! – закричала она, не видя, что я стою прямо за её спиной. – Отца твой приехал!

Приезжий переступил порог. На голове у него была бесформенная меховушка. Одет он был в стёганный азиатский халат, подпоясанный солдатским ремнём. Обут в галоши. Вместе с ним вступил в комнату кубометр ошеломляющего запаха. Полуседая щетина покрывала нижнюю часть его мокрого от слёз лица. За стеклом очков невыносимой голубизной сиял его правый глаз, а левый был сморщен, как будто от ослепляющего света. Тётка теперь свисала с его левого плеча, она всё ещё была в полуневменяемой дрожи. Теперь настала и моя очередь трястись. Вдруг я осознал невероятность этого дня, этого возвращения из ада. Я не мог произнести слово «Отец» и не мог утихомирить своих конечностей.

– А это кто ж такой передо мной стоит, толико высоченный? – спросил приезжий.

– Дык сын твой родной, Васок перед тобой! – всё пуце и пуце рыдала тётка.

– Ужельча правда?! – разрыдался и он.

Тут мы трое, главные участники события, заметили, что все члены семьи уже стоят вокруг нас в своих ночных одеяниях: и тётя Тиля, и дядя Гена, и юная Польшка, и подростковый Колик, и тётя Ната, и кот Махно, хвост трубой. В большей или меньшей степени тряслись все присутствующие.

Приезжий отец, очевидно, не всех ещё ясно фокусировал. Он тянул свои руки ко мне.

– Каков разбойник, – бормотал он. – Вот разбойник каковский!

Наконец мы обнялись. Он весь пропах потом, уриной, рыбьим жиром, угольной пылью и множеством других нечистых, нечитаемых запахов.

– Что ж вы, дядя Павлуша, телеграмму не прислали? – вдруг светским тоном спросила тётя Тиля. – Мы бы вас встретили на вокзале.

– Телеграмму?! – вздрогнул отец. Он посмотрел на потолок, как будто телеграмма свисала с люстры. Впоследствии выяснилось, что это слово полностью выпало из его лексикона уже много лет назад. Оказалось, что он много дней уже добирался из глубин Красноярского края, сначала пешком, потом на лошадях, на попутных машинах, на множестве поездов, товарных и «пятьсот-весёлых» и вот наконец добрался до Булгар, выпростался из плацкартного и просто пошёл со своим мешком по смутно знакомым улицам города, где был когда-то красным головою и где чуть голову свою не утратил.

Мешок этот достоин отдельного описания. Он был ростом в две трети отца и скроен частично из брезентов, частично из шкур. Сверху завязывался обрывком кабеля. Среди его более-менее обычного содержимого: рукавиц, одеяла, фуфайки, пары растоптанных до полного уродства унт, потемневшей оловянной посуды с остатками пищи – были предметы довольно неожиданные, в частности топор, пила, вязанка дров, ведёрко угля, бутылка с керосином.

– А это добро-то тебе зачем? – с болезненной жалостью вопрошала тётка. – Пошто тебе растопка-то?

– А как же без этого?! – воскликнул он, потом осветился какой-то тёмной нечитаемой ухмылкой, потом стал суетливо завязывать мешок, заталкивать его ногами куда-то в угол, потом уронил голову в ладони и несколько минут сидел не шевелясь.

Позднее, придя в себя, он поведал о своих главных этапах. После приговора он провёл чуть ли не месяц в смертной камере «Бурого оврага», где по ночам ему казалось, что казнь уже совершилась и он пребывает вне земных пределов. Потом его отконвоировали наверх, зачитали указ о замене высшей меры на пятнадцать лет лагерей и пять лет ссылки без права переписки и немедленно отправили в шахты на Воркуту. Там, в едва ли не крошечной тьме, он быстро скапутился в доходягу и чуть ли не всё позабыл, что когда-нибудь с ним было в жизни, за исключением нескольких лет деревенского детства. Вдруг однажды во время какой-то переписи его опознал однополчанин, с которым вместе штурмовали Перекоп. Товарищ этот и в лагере не пропал, придуривался по финансовой части. Он спас отцу жизнь, устроив к себе счетоводом. С тех пор в течение двенадцати лет каждое утро отец приходил в свой закуток, щёлкал счётами и крутил арифмометр. Когда основной срок кончился, его погнали из Воркуты в Красноярский край и выбросили в тайгу. Вот там он чуть не загнулся. Чудо снова спасло его, когда, издыхая от голода, он вышел к костру, вокруг которого кучковались такие же, как он, «робинзоны». Кабы не все эти чудеса, не сидел бы я сейчас среди вас, родные мои, живой и чистый! И тут он поведал нам ещё одну удивительную историю.

После оглашения приговора конвой повёл его по коридору клуба им. Менжинского на посадку в «воронки». И вдруг эту процессию обогнала крохотная старушечка, не кто иная, как родная его матушка Евдокия Власьевна Збайковичева. Забежав вперёд, она повернулась и осенила его крестным знаменем.

– Не боись, Павлушка, ничего не боись! – вскричала она прежде неведомым мощным голосом. – Без Божьей воли ни один волосок не упадёт с головы человеческой!

С тех пор в минуты крайнего отчаяния возникала перед ним, марксистом-ленинцем, фигура матушки с перстом над головою.

В лагере, зная прекрасно смысл приговора «без права переписки», он поставил себе правилом навсегда забыть о почте. Вдруг позабудут о нём, куда-нибудь в другое место дело переложат. В лагерной системе всё-таки царил халтура, чекисты чувствовали себя здесь скорее крепостниками, чем палачами революции. Давайте, друзья, выпьем за нашу родную халтуру, она всё-таки спасла много человеческих жизней!

Он поднял стакан с водкой. Правый глаз его сиял, левый отсвечивал стеклышком. Голова моя шла кругом, то ли от водки, то ли от невероятности этого застолья.

– Bravo, старик! – вскричал я. – Нет-нет, ты вовсе не старик, так мы друг друга называем в Питере. Обещаю тебе, отец, выйти с твоим лозунгом на Октябрьскую демонстрацию!

Ночью я проснулся, не очень отчётливо понимая, где нахожусь, да и вообще, очнулся ли или грежу. При свете ночника на тумбочке, прямо напротив моего изголовья, в воде или какой-то другой прозрачной жидкости, на дне тонкостенного стакана переливалось то самое яичко глаза с голубым зрачком из моего детского кошмара. Уже много лет этот сон не возвращался, и вот теперь сердце забухало по всему телу, как это случалось в детстве.

– Васок, ты тоже не спишь? – услышал я голос отца. – Пойдём прогуляемся? – Он сел на диване, взял с тумбочки стакан, двумя пальцами извлек глаз и весьма ловким движением вправил его в левую глазницу.

Ночная улица была пуста, только за парком медленно вёз свои огни в сторону пристани четвёртый номер трам-

вая да возле газетного стенда маячила какая-то долговязая фигура в майке, сползающей с худого плеча. Мы пошли по улице Энгельса к её пересечению с Ворошиловской.

– Освещение как было говённое, так и осталось, – весело заметил отец.

– Расскажи мне про глаз, – попросил я. Он тут же рассказал:

– Дело нехитрое. Я потерял левый, когда наша Пензенская форсировала Сиваш. Двенадцать лет спустя твоя мама купила мне два великолепных протеза у старорежимного офтальмолога Бергштольца. «Чтобы ты чувствовал себя полноценным красавцем социализма» – так сказала она. После первого же удара в лицо там, на «Буром овраге», протез вылетел и покатился по паркету. Лёжа на полу, я видел, как хромовый сапог раздавил глаз. Все присутствовавшие товарищи истерически хохотали. Что касается запасного, то это бабушка твоя спасла его при конфискации нашего имущества. Сестра берегла его все эти годы, смешно сказать, но именно как зеницу ока... Послушай, кто это всё время тащится вслед за нами?

– Это тот самый хромовый сапог, – сказал я и повернулся к приближающемуся Околовичу.

– Прошу прощения, – проскрипел тот. – Вышли спички. Нет ли огоньку?

Я зажёл свой большой огонь в зажигалке «Зиппо» и поднёс её к его лицу.

– Узнаёшь, отец? – Дрожащее, но негасимое пламя осветило бессмысленное лицо с набором морщин, вполне годным для сапога. Оно чмокало от предвкушения затяжки, но всякий раз, когда папироса приближалась к огню, я поднимал его вверх или отводил в сторону. – Узнаёшь?

Отец молчал. Я захлопнул «Зиппо». Тогда он чиркнул спичкой и протянул. Мы пошли прочь от гада.

– Если кто-то просит спичку, а у тебя они есть, нельзя отказать, – сказал отец.

Теперь молчал я.

– Знаешь, если бы глаз не вернулся, я, быть может, узнал бы этого, но теперь, когда и сын, и глаз, и все остальные со мною, я так счастлив, что до тех мне просто никакого дела нет, понимаешь?

– Ах, отец! – с досадой воскликнул я. – Много ли счастья прибавляет незрячий глаз?!

Он вдруг обнял меня за плечи. Впервые я это испытал, если не считать детских ласк – объятие отца.

– Знаешь, Васок, иногда мне кажется, что этот незрячий глаз давал мне какое-то удивительное зрение, – проговорил он с некоторой дрожью в голосе. – В те давние времена, когда мы все были вместе, мне казалось, что он помогает мне видеть будущее, а сейчас этот неотличимый дубликат будто бы освещает давно забытое, задавленное мною самим прошлое. – Он замолчал, закашлялся, заплакал, а потом продолжил сквозь слёзы: – Иногда освещает даже неведомое прошлое. Вот, например, я вижу десятилетнего мальчика, стоящего над раскрытым сундуком и смотрящего мне прямо в глаз.

Через три месяца на Октябрьской демонстрации в Питере вместо шутки о «нашей родной халтуре» мы с кучкой друзей подняли другой лозунг: «Руки прочь от Венгрии!» Тут же, на Дворцовой площади, мы были арестованы. Суд, короткий и ухмыльчивый, распределил сроки, от трёх до семи лет. Я получил семь и отрубил их в Потьме от звонка до звонка.

Прошло ещё сорок с чем-то лет. Окончательно рухнул социализм. Моложавый старик, рассказавший эту историю, до сих пор играет на рояле в московском клубе «Лорд Байрон» и поёт песенки на английском языке. Нельзя не отметить, что он пользуется льготами как жертва политических репрессий и, в частности, бесплатным проездом на общественном транспорте.